

1918 год.

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБЫВАТЕЛЯ)

В начале 1918-го года судьба столкнула меня с атаманом Дутовым. Первый выборный Войсковой Атаман Оренбургского казачьего войска Александр Ильич Дутов родился в семье казачьего офицера. По окончании кадетского корпуса, затем военного училища, казачьим офицером поступил в Академию Генерального Штаба, которую кончил по второму разряду, и потом был преподавателем юнкерского училища в Оренбурге. Во время мировой войны он был контужен в голову, причем некоторое время не владел речью и правой половиной тела. Все это скоро прошло. Революция застала его на фронте в качестве командира шефского Наследника Цесаревича 1-го Оренбургского казачьего полка. Выбранный делегатом с фронта на обще-казачий съезд в Петербург, Дутов быстро там выдвигается и становится потом председателем обще-казачьего союза.

Позднее он был выбран членом Учредительного Собрания. Во время корниловского мятежа Дутов занимает выжидательное положение. После подавления мятежа арестовывается Керенским, но вскоре же им освобождается. Ко времени большевицкого переворота, он уже выбранный Атаман Оренбургских казаков, печатно заявляет, что большевицкой власти не признает, и успевает

уехать в Оренбург. Вскоре по приезде его в Оренбург там составляется казачье правительство, не признающее власти большевиков. Отрезанное большевиками от остальной России в Оренбурге, оно печатает свои деньги, так называемые «дутовки». Завязывается вооруженная борьба с большевиками, которая идет с переменным успехом до конца 1917-го года. Наконец, большевики посылают на Оренбург матросские части, казаки бросают борьбу и бегут с фронта... Дутов остается в Оренбурге до последнего момента, и уезжает на рысаке, взятом комендантом станции Оренбург, поручиком Гончаренко, на улице, причем владелец и кучер были высажены на мостовую. На этом рысаке Дутов, взявший с собой чемодан и булаву войскового атамана, едет с Гончаренко до станицы, находящейся в 30-ти верстах от Оренбурга. Там встречаются с ними еще шесть человек молодых офицеров. Под охраной этих 7 человек, Дутов едет в Верхне-Уральск, где должен собраться Войсковой Круг Оренбургского казачьего войска. Большевики повсюду разослали телеграммы о награде за поимку Дутова. Мне рассказывали потом провожатые Дутова, как въ одной из станиц им не дали лошадей, и хотели задержать Дутова. Однако, Дутов не растерялся и заявил, что он согласен на задержание его и провожатых, и не будет сопротивляться, но для этого должно быть постановление станичного схода. Собрался сход. Дутов сказал казакам такую трогательную речь, что они плача просили прощения у своего атамана за то, что хотели продать его большевикам. Главный же зачинщик попытки ареста Дутова вез потом его на своих лошадях.

Оратором Дутов, действительно, был прекрасным, и всегда хорошо знал психологию своих слушателей. В этом я убедился, бывая и слушая Дутова на Казачьем Круге. Круг был по своему составу очень разношерстный, настроенный против Дутова и против борьбы с большевиками, однако, кончился тем, что Дутов снова был избран атаманом абсолютным большинством, против одно-

го голоса старика Каширина, отца небезъизвестных потом большевиков, офицеров Кашириных.

Меня познакомили с Дутовым в кулуарах съезда. Я увидел перед собой небольшого, полного, сутулого человека, в желтом овчинном полушубке, заросшего давно не бритой бородой, половина которой на контуженной стороне была совершенно седая. Волосы на голове, стриженные ранее под машинку, отросли, и были с проседью. Кисть правой руки намазана иодом и висит на черной повязке. Мне сказали, что с ним на съезде был обморок, при известии, что его жена и дети убиты большевиками в Оренбурге, и после этого у него отнялась рука. (Известие это, как потом оказалось, не было правильным). Глаза у него голубые, большие, были очень красивы, и поразили меня тогда своим грустным выражением. Я, как врач, поинтересовался состоянием его руки, на что услышал приветливое:

— О, нет. Это ничего. При нервных потрясениях это со мной случается, а потом быстро проходит. А вы видите, какое время мы все переживаем...

Несколько дней эта рука еще фигурировала на съезде на черной повязке, потом повязка исчезла.

Речи Дутов произносил громко, складно и дельно. Во время речи он смотрел через головы слушателей, на противоположную стену. Голова его сутулилась, и поднятые вверх глаза останавливали на себе внимание слушателей. Седая борода и голова импонировали аудитории, состав которой был, главным образом, из стариков.

Через несколько дней съезд кончился, и в последний день произошла разительная перемена. Дутов явился на съезд в изящном штатском костюме, выбритый и гладко остриженный. Румяные щеки его пылали здоровьем и на вид ему нельзя было дать более 35-ти лет. В то время ему было года 42-43, но с бородой он выглядел лет на 50. Дутов не забыл порисоваться штатским костюмом, объяснив его тем, что ему приходится переодеваться, так как простые люди кидаются в сторону, когда он идет с булавой по улице в сопровождении своей охраны и высказал

надежду, что скоро, вероятно, ему не придется переодеваться и маскироваться, и жизнь, особенно казачья, быстро наладится. (Вероятно, это обстоятельство послужило позднее к рассказам о нем, как оборотне).

При громких аплодисментах и криках «ура», он покинул трибуну.

Съезд, вынеся тысячу резолюций и пожеланий, разъехался. Правительство, во главе с Дутовым, должно было проводить в жизнь постановления съезда... Начались будни...

Я в это время увлекался возможностью еще борьбы с большевиками и, помня довольно твердое настроение съезда, разделял его надежды на хорошее будущее. Сам Дутов после оренбургского поражения меньше доверял казакам, но и он, конечно, искренне верил в возможность новой борьбы с большевиками. В организованность большевиков он не верил, говорил, что достаточно было бы одного надежного полка, чтобы взять Москву.

У правительства не было денег. Касса Верхне-уральского казначейства была пуста, т. к. она не получала уже несколько месяцев поддержки из центров. Нужно было достать денег. По просьбе Дутова, за это взялся я. В качестве председателя Городской Думы, мне удалось добиться постановления ее об обложении местных богатых людей. Дело шло о сравнительно, пустячной цифре, тысяч в сто только. И, конечно, наши толстосумы оказались на верху своего гражданского долга: удалось собрать только тысяч 18 всего, внесенных добровольно. Делать нечего: поехал убеждать их я сам.

Приезжаю к одному, говорю:

— Дорогой мой! Вы же понимаете, что Дутов нашу же с вами шкуру защищает! Вот на вас наложено всего пять тысяч, внесите их полностью!

— С нашим удовольствием! — отвечает: — да нет их у меня! Ей Богу, нету! Все деньги в товаре, а в казначействе взять нечего! Вот 800 рубликов, пожалуйста, получите, это все, что у меня есть!

Поверил я — взял 800 рублей, — не может же врать,

думаю, такой уважаемый человек... А когда большевики Дутова угнали, и посадили этого «уважаемого» в тюрьму, то супруга «уважаемого» внесла за мужа 250 тысяч романовскими рублями и 20 фунтов золотом в слитках, наложенной большевиками контрибуции. Но и это не помогло: большевики его расстреляли...

Таким образом, денег у Дутова было мало, и дела шли неважно. Набор казаков, о котором постановил съезд, не мог состояться из-за отсутствия, с одной стороны, средств и оружия, а с другой стороны, правительство с Дутовым определенно не верило казакам и не хотело собирать их на свою голову.

Начали формировать партизанский отряд из офицеров... Дело шло туго. Молодые офицеры поступали в партизаны, а офицеры постарше интриговали против Дутова и старались, снимая погоны, перейти на обывательское положение. (Большинство из них были потом убиты большевиками).. Дутов никого не принуждал, сидел в Верхне-Уральске и, как мне казалось, ничего не делал. Ходил в клуб, ухаживал за дамами, танцевал, ходил по гостям, играл в карты; пил он немного. Рассказывал много о себе, сам себя называл исторической личностью. охотно притом ругал Керенского и вообще социалистов, и, несомненно, мечтал о лаврах Наполеона...

Итак, мне казалось, что Дутов ничего не делал. Когда я говорил ему об этом, он отвечал мне:

— Ну, что, по вашему, надо делать? Отряд формируется, до весны боев никаких не будет! Вы думаете, большевики пойдут сюда, в Верхне-Уральск? Да никогда! Они, дорогой мой, привыкли воевать с комфортом: штаб их в международных вагонах, а солдатня, матросня — в классных. Пойдут они вам сюда, за 150 верст от железной дороги, да еще в такие морозы!..

Мне казалось, что он прав. Но, ездя по своим больным, особенно у простых людей, я поражался каким-то предчувствием их и приготовлением к чему-то серьезному. Не могу не вспомнить тут такой случай. Приезжаю как-то к одному мужику в слободке, беднейшей части

нашего города; захожу в избу и вижу не совсем обычную картину: открыт подпол, на полу лежит огромная куча земли. Спрашиваю у хозяйки, что это такое?

— Да, вон, Митрий окоп в подполе копает!

— Какой окоп? Митрий, ну-ка, вылезай, да расскажи, что ты делаешь?

Митрий вылез, сел на край подпола, поздоровался со мной...

— Ну, рассказывай!

— Да чего рассказывать то? Ведь война у нас будет — вот и рою окоп, схоронимся туда с ребятишками!

— Бога ты побойся, с кем же здесь воевать будут?!

— Ох, будут, Петрович, поверь маму слову; придут сюда большевики за Дутовым!..

Я посмеялся над Митрием и уехал... А через месяц я сам сидел в подполье, прячась не от пуль, правда, а от большевиков, и вспоминал Митрия с его предсказаниями.

Больше уж я никогда не смеюсь над предугадываниями будущего простыми людьми, и я ни разу не видел, чтобы они ошибались!..

Вскоре после моего разговора с Митрием с немецкого фронта пришел 15-ый казачий полк. Полк не пожелал сдать оружие большевикам, и шел с западного фронта через Саратов, Уральск, Орск конным порядком. Сражаться с большевиками полк не имел никакого желания, и начал расформировываться в станице Карагайской, в 30 верстах от Верхне-Уральска. Дутов послал туда 10 партизан, чтобы они приняли пулеметы и винтовки от казаков. Молодой командир этих партизан, как и они, офицер, приехал туда пьяный. Часть партизан также была пьяна. Во время передачи оружия этот командир оскорбил или ударил казака. Казак схватился за винтовку и убил его наповал. Другие казаки также начали стрелять по партизанам, причем был ранен мой знакомый пехотный поручик Д. Брат его, тоже партизан, убил тогда того казака, который ранил брата. Словом, партизане начали, отстреливаясь, отступать, таща с собой раненого товарища. И, так как все они были замечательные стрелки, то ранили и

убили еще человек 15 казаков, и казаки их не преследовали.

Известие это принес телеграф из Карагайской, и я скоро узнал о происшедшем. Еду по улице к больным, и вижу Дутова в шинели, с полковничьими погонами, спокойно идущего без охраны, в сопровождении дамы, которой он начал увлекаться в Верхне-Уральске. Я выскочил из саней, подхожу к нему и говорю:

— Александр Ильич, слышали?

— Да, как же, слышал! — отвечает совершенно равнодушно: — такой-то убит, а такой-то ранен; 2 казака убито и человек 12 их ранено! Однако, простите меня: видите, меня ждет дама! — и он лукаво усмехнулся.

— Дама то дамой, а вот вы без охраны ходить стали, это не хорошо!

— Эх, батенька, от судьбы не уйдешь, да и надоела мне эта охрана: никогда не можешь себе принадлежать, а все от тебя шарахаются в сторону!..

Козырнул мне, и отправился догонять свою даму.

Я слышал от партизан из его охраны, что лично Дутов очень храбрый человек, но легкомыслие его в такой момент меня поразило, и с этого момента у меня началось разочарование в нем, как в человеке, который, казалось мне, мог бы стоять во главе антибольшевицкой борьбы.

События между тем развивались.. Раненых и убитых в станице Карагайской привезли в город. Были устроены торжественные похороны, причем врагов хоронили в одной братской могиле. Были речи на могиле на тему единения и недоразумения. Приглашенный фотограф снимал эти похороны. Фотографии этой суждено было сделаться для многих роковой: большевики потом расстреливали участников похорон, ставя им в вину, что они «дутовцы». Так, ими расстрелян скромный мещанин, пимократ по профессии, Чепелев, который виноват только тем, что вышел на фотографии в тот момент, когда помог пронести гроб через ворота.

Казаки 15-го полка торопились сдать оружие. Оно,

наконец, было привезено в Верхне-Уральск. Теперь у Дутова были патроны и пулеметы. Но, конечно, этого было недостаточно. Бессилие Дутова чувствовалось и в настроении горожан. Богатые начали понемногу уезжать из города, а бедные поднимали голову. Как-то днем, подъехав к квартире, занимаемой Дутовым, пьяный хулиган начал его ругать, причем разбил окно и уехал. Партизаны, жившие с Дутовым, выскочили на улицу и решили наказать этого хулигана. Одевшись, они отправились с поручиком Гончаренко и увидели нахала, вернувшегося посмотреть на результаты своей выходки. Окруженный ими, он выскочил из саней и бросился бежать. Горячий поручик Гончаренко выхватил револьвер и выстрелил в него два раза. Вторым выстрелом тот был ранен в зад, однако, не упал, а, схватившись за раненое место, продолжал бежать дальше, чем рассмешил партизан, и они не преследовали его, решив, что он достаточно наказан ими. Эта стрельба днем на улице в праздничный день также производила впечатление бессилия и неорганизованности.

Совет солдатских, рабочих, батрацких и казачьих депутатов, самочинно собравшийся в нашем городе еще до приезда Дутова из разного сброда: двух матросов, приехавших домой из Кронштадта, нескольких дезертиров с фронта и местных хулиганов, видя эту халатность и неорганизованность, на своих публичных собраниях начал громить Дутова. Доказав Дутову бессилие этого совета, я просил его не обращать на них внимания. Но на одном из таких публичных собраний присутствовал и поручик Гончаренко. Услышав, как громят Дутова, он взял слово и начал говорить в защиту Атамана. Однако, собравшиеся криком и протестами не давали ему говорить. Гончаренко вспылил. Выхватил из кармана ручную бомбу и закричал:

— Марш отсюда, сволочь, или всех взорву!

«Сволочь», выломав все двери и окна, разбежалась, оставив его одного.

В ту же ночь партизаны застрелили одного «орателя»,

а многих из главарей арестовали, и пришли доложить об этом Дутову, прося разрешения о расстреле. Я, будучи в гостях вместе с Дутовым, ужасно волновался за судьбу арестованных и просил Дутова их освободить.

— Успокойтесь, Михаил Петрович, — сказал мне Дутов, — пойдете вместе со мной в управление Отдела.

Придя туда, мы увидели всех этих людей, за кого так болело мое сердце, и которые потом расстреляли моего отца и других бывших в нашем городе, и меня самого приговорили к смертной казни. Все они были бледные, с трясущимися губами.

Дутов усмехнулся, глядя на них, и сказал:

— Господа, я вас не трогал, и просил бы и меня оставить в покое! Не забывайте, что я выбранный от 250.000 оренбургских казаков и творю их волю! Ваших выступлений против себя я не потерплю, предупреждаю вас, сила, как видите, на моей стороне!..

Трясущиеся губы забормотали:

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! да мы разве что?.. Да мы, ей Богу, ничего! Мы, ведь, здря — болтовня одна, мы народ темный, простите, ваше высокоблагородие!..

— Здесь нет высокоблагородий, — сказал Дутов, — я такой же человек, как и вы, и, если вы думаете по своему, то позвольте и мне думать и делать так, как мне кажется лучше!

— Отпустите их, А. И., вы видите, что эти люди не большевики! — прошу я.

Дутов еще раз усмехнулся, и бросил мне:

— Вы так думаете?

— Ручаюсь, А. И.

Дутов распорядился об их освобождении. Все они прошли мимо него с униженными поклонами, и скрылись в темноте ночи. На другой день некоторые из них были у меня и благодарили. Я посоветовал им опасаться мести партизан и уехать из города, что они и сделали...

Таким образом, совет этот был разогнан. Как он ни был плох персонально, однако, несомненно, он был популярен у большинства населения, и его разгон возбуждал население против Дутова. Вскоре после этого Дутов поприжал «буржуев» обязательным постановлением о взносе денег, и неухавшая часть их деньги внесла.

Он зашел как-то лично в Сибирский банк и реквизировал под расписку часть хранившегося там — собственного банка и частных лиц-золотопромышленников — золота. . .

Поручик Гончаренко был назначен комендантом города. . .

И опять сам Дутов почил от дел творения. Ухаживания его за дамой сердца приняли систематический характер. Муж этой дамы поспешил уехать из города, даже со скандалом: партизаны не хотели его выпустить, посчитав его за шкурника.

Дутов не вылезал из квартиры дамы, или она от него.

Часть членов правительства куда-то выехала, часть сидела, ругала Дутова и ничего не делала.

Горячий Гончаренко перетягивал. Тюрьма наполнилась арестованными, среди которых пока еще не было ни одного большевика. В милицию Гончаренко взял бывших стражников и полицейских; вели они себя опричниками. Гончаренко занимался рукоприкладством. Я сам, зайдя как-то в милицию, слышал его допрос арестованного, сопровождавшийся пощечинами при закрытых дверях его кабинета.

Редко встречаясь с Дутовым, я предупреждал его, что дело идет неладно, но он устало махал рукой, говоря:

— Ах, не все ли равно? Насильно мил не будешь! . .

И спешил к своей даме.

Телеграф получил приказ из Уфы от союза П. и Т., не отсылать дутовских телеграмм. Гончаренко арестовал почмейстера; телеграфисты разбежались. Почта встала. Сидевшие на телеграфе офицеры перехватывали депеши большевиков о том, что они выступают на Дутова из

Троицка. Теперь Дутов сам сидел на телеграфе, слушал и провоцировал большевиков. Дня через два он послал отряд человек в двадцать, с двумя пулеметами, навстречу большевикам, выехавшим из Троицка. Отряд этот встретил где-то этих ротозеев, ехавших пьяными на розвальнях, и, устроив им засаду, из двух пулеметов и винтовок положил их всех на месте (было их человек триста). Но за ними двигались другие, и отряд отступил, известя о том Дутова. Дутов решил, наконец, сам с главным отрядом выступить в направлении на Троицк, тем более, что были получены сведения о движении большевиков из Уфы по узкоколейке на Белорецк. Отряд его насчитывал двести человек офицеров и часть казаков. С этим отрядом ушел и мой брат, поступивший партизаном к Дутову. Человек сто партизан осталось в городе. Остался и Гончаренко со своей милицией. В городе начиналась паника. Росли слухи о движении большевиков чуть ли не со всех сторон.

В думе шли бесконечные заседания, на которых предлагались фантастические проекты сопротивления большевикам. На одном из таких заседаний прошло предложение сделать «диверсию» в сторону наступающих будто бы большевиков, с целью показать им, что эта сторона также охраняется. Предполагалось, собратся человек двести из зажиточных лиц города, и ночью, севши в сани, проехать верст за тридцать от города и вернуться обратно. На сборный пункт, кроме меня, пришло еще три человека. «Буржуй», хорошо укрывшийся в тылу еще во время войны, и теперь полагал, что для его охраны наберется «серая скотинка», а его, ведь, не тронут, даже если и придут. За что же его, в самом деле, трогать?..

Гончаренко со своим отрядом милиции, которую пополнил казаками — всего было человек 50, — разъезжал по городу с песнями. Улица затихла и спряталась. Желая сформировать что либо из казаков, Гончаренко устраивал сходы в Форштадте — казачьей станице. На этот сход ездил всегда один, без кучера. При одной такой поездке в него кто-то выстрелил из за забора, но не попал. Лично

очень храбрый, Гончаренко выскочил из саней и бросился во двор, откуда в него стреляли. Но стрелявший успел скрыться огородами.

Казачья охрана сделала ему охрану на сходке, набрав пожелавших идти в эту охрану казаков, вооружив их винтовками. На одном из этих сходок Гончаренко допрашивал казака, обвинявшегося в сочувствии большевикам, причем бил того по щекам. Кто то из казаков, возмущенный, начал говорить о том, что нехорошо бить человека на сходке; другие его поддержали. Гончаренко вспылил, сунул руки в карманы и закричал:

— Что, бунтовать?..

Охрана его взяла ружья на изготовку; защелкали затворы. Казаки бросились из комнаты (дело происходило в школе), выламывая двери и окна. В это время один из его охраны, казак Иванов, как потом говорили, поступивший туда с целью убить Гончаренко, наученный Каширинными, выстрелил в Гончаренко из винтовки. Но затвор его был густо смазан маслом, и ружье дало осечку. Гончаренко бросился к казаку. Тот, отбросил винтовку, схватился с ним. Охрана бежала вслед за остальными. Что случилось дальше — неизвестно. Струсил ли храбрый Гончаренко, или казак его осилил? Раздался выстрел... Через минуту выскочил казак с револьвером Гончаренко в руках и убежал от неоправившихся еще после паники казаков...

Я узнал об этом случайно. Желая с кем то говорить по телефону, берусь за трубку и слышу, какой-то панический голос сообщает в управление Отдела об убийстве Гончаренко, и требует доктора. Не понимая, где убитый или раненый Гончаренко, еду в Отдел; там все в панике, говорят, что несчастье произошло в Форштаде. Еду туда. Около школы толпа смущенных казаков. Вхожу в комнату. На полу, раскинув руки и ноги, лежит маленький поручик Гончаренко. Освидетельствовал... Мертв... Убит наповал. Кругом смущенные казаки, некоторые плачут, и рассказывают мне, как все это случилось. Моя помощь опоздала и я уехал.

Часа через четыре меня снова вызвал туда судебный следователь. Написали судебный протокол. Ранение из ноза, посреди грудной кости. Выходного отверстия нет. Пуля пробила, вероятно, аорту и осталась в позвоночнике. Кожа у трупа, после пяти часов смерти, была удивительно тепла на ощупь. Одет в чистое новое белье.

— Готовился к смерти, — говорят понятые.

И правда, Гончаренко мне несколько раз говорил: — Эх, все равно, скоро убьют, М. П.!..

В кармане у него нашли записку — завещание, — все после его смерти передать брату его, кадету, бывшему с ним в городе.

Сидя в санях со следователем, возвращаясь в город, я слышал, как кричал в нашу сторону высыпавший на улицы простой народ: — Не воскресили «красную шапочку»!?. Крышка теперь и вам! — (Гончаренко носил красную фуражку, оставшуюся у него от Оренбурга, где он был комендантом железнодорожной станции).

Идущие нам навстречу два пьяных парня во все горло пели «Отречемся от старого мира»... Вечерело... и холодный ужас за близкое будущее закрадывался в душу. Я понимал эту ненависть... и понимал, что все пропало — оставалось одно — постараться спасти свою шкуру. Я решил уехать и уехать не к Дутову. В борьбе, которую он вел, я разочаровался... Он бессознательно возбуждал к себе ненависть, и люди, вчера еще не большевики, делались ими, благодаря обстановке, созданной его присутствием. Хотелось уехать, куда глаза глядят, без определенного плана на будущее — оставаться нельзя, прежде всего, толпа убьет, да и большевики, которые несомненно придут, вряд-ли помилуют...

Вдруг кучки людей, стоявших на улице, шарахнулись в стороны и побежали. Оглянувшись, я увидел, что нас догоняли сани с трупом Гончаренко, прикрытым шинелью. Красная фуражка лежала сверху. Несколько конных казаков скакали за санями.

— Смотрите и мертвый он еще страшен им, — сказал я следователю.

Труп Гончаренко везли в покойницкую при больнице. Так и не похоронили его потом. Живой он был нужен, а о мертвом забыли... Позднее большевики устроили ему «пышные» похороны. Раскаряченный труп его, привязанный к конскому хвосту, возили по улицам, хлестали по нему палками и, наконец, превратив его в бесформенную массу, закопали вместе с другими казненными.

В вечер убийства Гончаренко, ездя по своим больным до поздней ночи, я удивлял их своей задумчивостью и рассеянностью, но предстоящее было так серьезно и грозило не только одной моей шкуре.

На другой день паника в городе усилилась. Дутов был в 30-ти верстах от города, в поселке Красницком. Правительство без него растерялось... Комендантом назначили помощника Гончаренко, но он не имел того авторитета и не внушал доверия. Часть партизан послали на разведку в сторону Тирлянского завода... На базаре народ собирался кучами и шумел. Я заканчивал свои дела, так как предстоящей ночью решил уехать. Нужно было решить вопрос с семьей: все мы уехать не могли. Наконец, решили, что жена и дети мои останутся — уеду только я. Долго уговаривал я своего отца уехать со мной, но он решил остаться, говоря, что ему ничего сделать не могут, хотя бы уже потому, что кроме добра он никому ничего иного не делал. За эту веру в людей он заплатил потом своей жизнью.

Ночью я перевез жену к знакомому аптекарю, боясь обыска в своем доме, а сам с приятелем, на его лошадях, выехал из города в направлении на поселок Кассельский, желая миновать Дутова. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Шел снежок. Кучер хорошо знал дорогу. Перед рассветом мы приехали в Кассель. Я решил заехать к знакомому богатому казаку, к старому Танаеву, чтобы ориентироваться в дальнейшей дороге.

Угостив нас чаем, Танаев заговорил о решении их поселка бороться с большевиками. Дутов был от них в 12-ти верстах. Потом сказал нам, что дальше казачьи заставы нас не пропустят... Что же, мол, вы уж так доро-

жите своей шкурой. Борьба, так борьба... И нам, по его мнению, надо было ехать к Дутову.

Я не знал, на что решиться — положение было безвыходное. Однако, надо было что либо предпринимать, и, сказав ему, что, де, пожалуй, он прав и мы поедem к Дутову, повернули оглобли назад.

Ужасно мне не хотелось ехать к Дутову, и вот сама судьба гнала меня туда! Однако, по дороге я решил ехать сначала в город, посмотреть, что там делается, так как к Дутову не поздно было ехать и потом.

В поле началась мятель... Скоро стали попадаться едущие нам навстречу верховые казаки, по одному, по два, по три, занесенные снегом. Они нам сообщили, что на город идут «массии» большевиков, что сопротивляться не стоит, и т. д. Я сомневался относительно масс большевиков, однако, было ясно, что в городе не благополучно. А мы все ехали и ехали туда...

Наконец, показался город и через четверть часа мы въехали во двор моего приятеля. Зайдя в комнату и не успев раздеться, я услышал, что меня ищут по городу, так как собралась Дума. Сюда же заехал знакомый и страшно обрадовался, увидя меня. Он из Думы. Там все потеряли голову... Ждут меня... Он же сообщил, что партизаны складываются и уезжают... Правительство частью уже уехало.

— Ну, — говорю ему, — поздно теперь «думать» в Думе, и разве чудом только мы можем спастись...

Однако, в Думу поехал, на его лошади, в том костюме, как был—в валенках, в коротком полушубке и в дохе.

Мятель стихла... Проезжая через базар, слышал, как по моему адресу простой народ кричал о том, что по мне веревка плачет..

На Большой улице на встречу мне ехали возы с винтовками, на которых сидели партизаны. Едут без охраны, в какой-то панике, суетятся, спешат... В чем дело? Ведь опасности никакой — большевики далеко... Мчатся мимо...

Вдруг вижу, в моих санях, на моей лошади, без кучера, тихонько едет по улице мой отец. Увидел меня:

— Боже мой, ты не уехал? Куда ты? ..

— В Думу!

— Брось к черту, садись со мной, поедem домой!

Как молния, мелькает мысль: «перескочить к нему в сани? .. Ударить по лошади... Конь добрый... через час мы будем у Дутова!» — но, вместо этого, я говорю:

— Нет, я поеду в Думу!

— О, черт возьми! — горячится отец: — ну, скорее приходи домой... Я за тобой пришлю лошадь...

— Да, да, хорошо! Пришли! ..

Мы разъехались, и больше никогда не видались...

Вхожу в Городскую Управу. В ней человек десять гласных... Бледные, испуганные, бросились ко мне навстречу: «Наконец-то вы! Что делать? Партизаны уходят... Милиция разбежалась... Что делать? .. Как быть?» — посыпались на меня вопросы. Говорю, что видел беспричинное бегство партизан, и боюсь, как бы оно не послужило поводом к восстанию в городе.

Как бы в ответ на мои слова, на улице раздались выстрелы. Мы бросились к окнам. Посреди улицы бежало человек пять с винтовками каких-то хулиганов. Особенно врезался мне в память один из них, бегущий впереди. Держа винтовку дулом вверх перед собой, он стрелял в воздух, подпрыгивая при каждом выстреле...

Напротив окон Управы стоит на крыльце своего дома бывший член Государственной Думы Гродзицкий и нетерпеливо звонит к себе... Ему долго не отворяют...

Приходят испуганные люди с улицы и говорят, что толпа отбила воз с винтовками у партизан и теперь громит милицию и избивает оставшихся там милиционеров. Кто-то из гласных кричит, что нужно послать делегацию к большевикам, в Белорецкий завод, с просьбой, чтобы они скорее шли, иначе хулиганы разгромят город.

В голове моей вихрь мыслей: «Все пропало... Смерть! Скоро смерть! .. Значит, так суждено! .. Все погибает, и

Россия погибает!.. Что такое я перед ней?.. Ничто!.. Но так падать низко нельзя и я просить пощады у большевиков не стану»...

Кто-то пишет резолюцию о посылке делегации к большевикам. Я подхожу к столу и заявляю, что постановления этого я не подпишу и снимаю с себя звание председательствующего в Думе. На душе как будто становится легче... Но снова действительность возвращает меня к тяжелой мысли о смерти. За окном все усиливающийся шум...

«Однако, — думаю я, — говорится, что нет такого положения, из которого не было бы выхода!.. Проверим, так ли это?» — И, вдруг, решаюсь: — Прощайте, господа, пойду в больницу, — там я буду нужнее, чем здесь!..

Выхожу на улицу, чтобы идти в больницу; пусть уж меня там убьют...

Налево идти нельзя, там толпа громит милицию, решил обойти по другим улицам. Только я завернул за угол — навстречу бежит толпа, вооруженная, чем попало. Я повернул прямо в противоположную сторону, и не торопясь, пошел по улице. В это время услышал свист пуль и трескотню пулемета... Пули летели мимо меня вдоль улицы, чокая в фонарные столбы. «Хорошо бы в меня, да наповал», подумалось мне, но пули летели аршина на два над моей головой.

Однако, куда же идти? Я решил опять идти к моему приятелю Ш., это была единственная свободная дорога передо мной. Завернув в боковую улицу, я побежал. В дохе бежать было тяжело, и у меня сделалась отдышка. Пошел тише. Навстречу попадает знакомая акушерка: — «Куда вы, доктор?» — «Ах, не спрашивайте!» — махаю на нее рукой, и спешу мимо удивленной акушерки. На углу три конных партизана, приехавших с разведки. Кричу им: «Удирайте, черт возьми! В городе восстание и партизаны все уже уехали». — «А вы, как же, доктор?» — «Еду за вами, скачите!» — Офицеры приложили руки к шапкам, и поскакали вон из города.

Вбегаю во двор к Ш. Лошадей, на которых мы ездили этой ночью, во дворе нет. Захожу в дом. В комнатах только прислуга. Спрашиваю, где хозяйева, говорит, что уехали к бедным родственникам в город — боялись остаться дома. Сбрасываю, наконец, доху. Что теперь делать? Начинаю метаться по комнатам, как зверь в клетке: — «Конечно, сейчас придут с обыском! Куда деться?» — Подъ ногой что-то скрипит: «Ага, подпол! Прекрасно, спущусь туда, если придут!» — Вижу, как прислуга затворяет ворота: «Хорошо, значит, будут стучаться»...

Через пять минут стук, звонок, барабанят в окна... Бросаюсь к подполу. Прислуга захлопывает надо мною дверку и набрасывает на нее ковер. Бежит отворять двери. Над моей головой топот десятка ног, крик: «Где хозяйева? Где оружие? Бери оружие! Патроны где? Подпола нужно осмотреть!» — «Ну, конец», думаю. Вынимаю браунинг и становлюсь у лестницы, подняв голову вверх: «Итак, семь пуль для них, восьмая мне». Успокаиваюсь, мысли опять ясны. — «Ах, да, бумажник с деньгами, тысяч десять, нужно оставить здесь, в подполе, чтобы они потом, обыскивая меня мертвого, не поживились». Засовываю его в какую-то щель. В темноте толкаю стоящие на полке бутылки, они падают и бьются. Но наверху шум — не слышат... Через несколько минут, показавшихся мне вечностью, наступила тишина... Шаги... Девушка отворяет подпол:

— Выходите, доктор!.. Ушли!.. — взволнованно шепчет она: — счастье, что я нашла патроны, а то бы они полезли в подпол...

Я вылезая наверх, говорю:

— Спасибо вам, Маша, не растерялись и не выдали меня. Жив буду — не забуду...

— Что вы, барин, рази я из за этого?.. Чай, мы тоже люди, не звери...

«Однако, надо что-либо предпринять! Пока повезло, но могут придти еще раз. Нужно поискать места во дворе... В доме оставаться нельзя», — думаю я.

Иду во двор. По дороге туда, заглядываю в кухню.

На столе кипящий самовар. За ним сидят кухарка, кучер, прачка.

— Чайку с нами покушать, барин, — приветливо говорит кухарка.

— Ах, Ивановна, что вы говорите, какие теперь чаи? Я удивляюсь на вас, как это вы можете спокойно распивать его!

— А нам то што? — нас не тронут! — обиженно поджимает она губы.

Мелькает мысль: «Напрасно я сунулся в кухню; впрочем, ведь не выдали же, когда те приходили! Надо уходить отсюда, однако! Куда только?»..

Выхожу во двор, машинально направляюсь в сторону конюшень. Вдруг слышу резкий свист. Вздрагиваю и останавливаюсь. Кто-то сдавленным голосом называет меня по имени. Из погреба вылезает реалист Коля Ш.

— Как ты меня напугал, Коля! Ты что же, не уехал со своими?

— Нет, я тут себе дыру сделал в погребе... У меня там бомба, папина двухстволка, петин револьвер, — начинает тараторить он: — мы их славно встретим, пусть только сюда сунутся... Сначала будем стрелять, а потом взорвем бомбой. А вот иод у вас есть, М. П.? Если нас ранят, так надо иоду; бинты у меня есть..

Говорю ему: — Нет у меня иоду, Коля, и ты в дыру свою не лазай больше... Если и придут, так тебя не тронут. За что же ты стрелять их хочешь?

— А я думал, что вы со мной будете сидеть? — разочаровывается Коля.

Рядом дом д-ра В. Он на войне. Дома жена с детьми. Решаю спрятаться пока у нее... Нужно перелезть через забор... Коля меня подсаживает... С забора видна улица. На улице большая толпа добивает раненого партизана. «Увидят меня на заборе», мелькает мысль, и я прыгаю обратно к изумленному Коле. Хватаю его за руку и мы бежим к конюшням. Там ему рассказываю, в чем дело. Решаю просидеть здесь до вечера.

В сумерках Коля лезет на крышу и сообщает мне, что

на улице почти никого нет. Остановливаюсь на мысли, что перейду к своему приятелю П., живущему недалеко от Ш. Отворяем ворота, и я выхожу на улицу... Улица пуста... Пройдя по ней шагов 20, слышу за собой свист. Оглядываюсь... Коля машет мне рукой и показывает куда-то... «Погубит он меня своей конспирацией!» — и я кричу ему, чтобы он шел домой и не боялся за меня. Коля послушно уходит во двор.

Вот я и у дома П., звоню на крыльце. Не отворяют...

— Да вы в ворота постучите, — раздается голос сзади... Оборачиваюсь:

— А, Николай, здравствуйте, — бывший рабочий моего отца: — звали меня сюда, дети у них больны...

— А чего вы этак вырядились? — усмехается он на мой полушубок и валенки: — Я вас и не узнал совсем!

— Да, видишь ли, время-то какое..

Он опасливо оглядывается: — Да, время-то, действительно, не того, значит... Чаво еще будет?... Однако, прощевайте!.. Да вы в ворота постучитесь!

Иду к воротам и стучу... Слышу, шаги скрипят во дворе... Слышу по походке, что идет сам П. Отворяет. Поражен — вчера он меня провожал из города:

— Ты? Ты здесь, не уехал?

— Да вот, как видишь!

— Вот так веселенькая история!..

— А я к тебе: посижу до ночи, а там видно будет!

— Дело! Ну, что же, пожалуйста чай кушать! — усмехается он. Заходим в комнату. Жена П. руками всплеснула:

— Господи! Вы не уехали?... Раздевайтесь, садитесь чай пить! Ну, рассказывайте про себя!..

Я рассказал свои приключения этой ночи и дня.

— Да как вы не поседели там в подполе-то? — жалеет она меня: — Видно, горячо за вас жена ваша молится: ведь, это прямо вас Бог спас!..

Из глаз ее катятся слезы. П. тоже взволнован рассказанным:

— Да-с, веселенькая история, — выпаливает он свою

постоянную поговорку, и начинает сообщать мне, что известно ему. — Беспорядочное бегство партизан. кончилось для многих из них печально. Толпа отбила несколько возов с винтовками и убила сопровождавших их партизан. Пулемет, под который я попал, был партизанский у Отдела, откуда партизаны вывозили некоторые дела, полковые знамена и т. д., но и он стрелял не долго, так как пулеметчика застрелили из подворотни ближайшего дома восставшие. Правительство успело уехать, бросив свои и вещи Дутова на квартире, где они жили. . . Член правительства Белобородов был вытасен из саней, ранен в голову, избит и сидит в милиции. . . Арестовано много лиц из интеллигенции и купечества, есть среди них и избитые. . .

О моей семье ничего не знает. Есть убитые и арестованные партизаны из тех, которые, не зная о том, что город в руках восставших, спокойно возвращались с разведки, посланные туда бежавшим правительством. Из тюрьмы выпущены все арестованные, до уголовных включительно.

Начинаем обсуждать, что мне надлежит делать теперь. Я высказываю свое мнение в том смысле, что ничего мне другого не остается, как ехать к Дутову этой же ночью, оставаться нельзя, и завтра ехать будет поздно. П., однако, останавливает меня и говорит, что дороги, вероятно, охраняются, чтобы никого не выпускать из города. . .

— Утро вечера мудренее, — решает он. — Ночуй у нас, а завтра решим, что делать. . .

Ложимся спать, и долго все не можем уснуть, перекидываясь в темноте подробностями событий. . . На улице тишина. . . Решив, что пожалуй, обыска у П. не будет, мы, наконец, уснули.

Ночь для нас прошла тихо, но многие пережили за это время тяжелые драмы. В моем доме был обыск. Дома была только прислуга и мой сын, реалист, к которому пришли два товарища ночевать. Ворвались человек десять, с моим приятелем по охоте, почтальоном Щури-

ным. Забрали винтовки и патроны. (У меня была коллекция нового и старого оружия, висевшего по стенам кабинета. На другой день пришли другие и увезли все это оружие на двух возах, обвинив меня потом, что у меня был склад оружия). Щурин с компанией потребовали водки. Прислуга им дала, сколько было. Хвативши, они отправились в дом отца, находившийся рядом с моим. Там им на стук не сразу отворили, и они положительно расстреляли деревянный дом моего отца. Мачеха с маленькой дочкой спустились в подпол, а отец, шедший отпирать двери, бросился в угол и остоялся там, прижавшись у телефона. Когда он отворил им, наконец, парадное крыльцо, ватага ворвалась в дом, крича, что здесь скрывают что-то, так как долго не отворяли. Потребовали оружие. . . Оружия у отца не было, потому они, забрав кое-какие, попавшиеся им под руку, вещи, ушли. . . Отца арестовала толпа на другой день. В этой толпе преобладали женщины-солдатки. Женщины эти вели себя по зверски, относились к людям безжалостно. и имели большое влияние на последовавший затем террор, обвиняя людей в небылицах. В тот же день моего отца, вместе с другими арестованными, повели в тюрьму за город. По дороге их всех били, торопили идти; некоторые падали, их докалывали штыками. . . .

— Вставай, баржуй, — будил меня П., рано утром.

Я вскочил, как ужаленный, еще не очнувшись от сонных грез. Однако, через минуту я почувствовал всю ужасную действительность, в которой теперь находился.

— Ну, товарищ, идти тебе никуда нельзя; на улице толпа, делает обыски, арестовывают людей, пожалуй, и ко мне сейчас придут. Пойдем, поищем места, куда тебя спрятать. . .

Сначала мы остановились на сеновале, где он предложил мне зарыться в сено, но потом нам пришла блестящая мысль, отодрать доски на соседний сеновал, принадлежавший двум старым девам, где у них была свалена всякая рухлядь.

Пропустив меня в это отверстие, П. снова заложил его досками.

Оглядевшись в темноте, я нашел какие-то звериные шкуры, на которых и улегся, прикрыв себя старым неводом.

Минут через десять мне стал слышен шум толпы, приближавшейся к дому П., делавшей обыски соседних дворов.

— К нам сейчас придут, — пела во дворе около сеновала жена П., предупреждая этим пением меня и возясь для вида с коровой.

Скоро, действительно, на дворе послышались голоса людей, требующих сделать обыск. Жена П. спокойным голосом отвечала, что они могут сделать обыск, но она не понимает, для чего; муж, де, ее ни от кого не прячется, а стоит с ними на улице...

— А, может, кто у вас спрятался? — послышался голос.

— Ну, так смотрите тогда, — ответила она хладнокровно.

Я слышал, как ходили подо мной в конюшнях, потом человека два поднялись на сеновал и ткнули несколько раз штыками в сено. Потом, говоря, что никого и ничего нет, спустились, и толпа пошла дальше. На сеновале старых дев, где я сидел, обыска не было.

Ощущение мое было не из приятных. Насколько мне помнится, мысли бежали какими-то отрывками. С одной стороны, меня охватывала радость, что снова так удачно прошел для меня и этот обыск. Ведь, спрячясь я в сено, меня бы закололи штыком или нашли, а с другой стороны, какое-то грустное сознание разочарованности в себе и людях, сжимало мое сердце:

«Ну, вот, — думал я: — дождался, братец, завершения твоей работы за народ, за который ты так распинался. Если бы нашли, так убили бы, или, избитого, отвели в тюрьму и посадили бы ждать смерти. А за что собственно? Какое тебе обвинение могут предъявить эти люди, кроме какой-либо бессмысленности... Вот он, «бессмы-

сленный и беспощадный русский бунт». . Как легко, не вникая в глубокий смысл слов, читал ты их у Пушкина, и как трудно и тяжело быть живым свидетелем этой тупой, звериной, бессмысленной беспощадности людей. . .»

Потом на меня нашло состояние какого-то оцепенения, полного ко всему безразличия, состояние, близкое к протрации. Мне кажется, что я лежал так часа 2-3, совершенно не двигаясь и ни о чем не думая. . .

Из этого состояния вывел меня П., придя на сеновал и отодрав снова доски; он позвал меня сдавленным голосом. Тут только, как бы очнувшись, я почувствовал, что все мои члены онемели и что я сильно озяб. С большим трудом я мог заставить себя пошевелить руками и ногами, и с громадным усилием пролез к нему на сеновал. П., увидя мое состояние, начал успокаивать меня, говоря, что опасность пока миновала. и всегда можно найти выход из всякого положения. Не надо только отчаиваться. Надо думать, что с приходом настоящих большевиков будет крепкая власть, и тогда можно будет выйти, так как за мной никаких преступлений не числилось. Делая вид, что шел поить лошадь, он принес в ведре тарелку с мясом и флакон со спиртом.

— На, глотни-ко, «баржуй» несчастный, согрейся, да повеселей немного; обыска больше не будет, а если и будет, так бояться нечего! . . Вот, веселенькая история. . . Неужели у нас с тобой ума не хватит провести это дурачье? . .

Когда я, «глотнувши» спирта, поел немного мяса, он вынул из кармана пакетик с махоркой, дал его мне. Заботы его тронули меня до слез.

Человек — удивительное животное, быстро привыкает ко всякого рода положениям. После его ухода, лежа на шкурах и покуривая махорку, я почувствовал снова себя в своей тарелке, рассуждая, что дела мои не так уж плохи — другие сидят в тюрьме, а у меня есть еще надежда на тот или иной выход. . .

К вечеру П. принес тулуп. и мы решили, что я проведу ночь в этом новом моем помещении. Он мне сообщил

о панике среди восставших, так как у них нет руководителя, а они боятся наступления Дутова. С окрестных хуторов приехало много мужиков в помощь восставшим, их вооружили винтовками из разгромленного арсенала, но патронов в городе очень мало. Ночью или завтра утром ждут большевицкий отряд из Белорецка.

Пришедший утром, П. сказал, что в городе вышла печатная прокламация, подписанная есаулом Н. Кашириным и студентом ветеринарного института Кругловым. Последний не имел никакого отношения к большевикам, но популярность его среди восставших случилась потому, что он сидел в тюрьме, посаженный туда поручиком Гончаренко за невзнос причитающихся с него по раскладке денег, так сказать, для устрашения прочих, и был выпущен оттуда в день восстания против Дутова. Утром приехал из Белорецка большевицкий отряд, под командой какого-то прапорщика. Вместе с этим отрядом приехали и бывшие деятели разогнанного Дутовым совета. Прапорщик этот сделался председателем совета и командующим фронтом против Дутова.

Для меня, сидящего в одиночестве на сеновале, этот день характеризовался следующим обстоятельством: часа в три дня началась стрельба и крики. Мимо дома П. скакали конные и бежали пешие красноармейцы, на бегу стрелявшие куда-то в улицу, что я наблюдал через щель своей засады. Пришедший ко мне П. рассказал, что стреляли в партизана, приехавшего на разведку от Дутова. Он, проезжая улицами, отбирал патроны у встречавшихся красноармейцев, мотивируя это приказом совета, но, опознанный кем-то, выхватил шашку и проскакал по улицам за город. Поймать большевикам храброго мальчика не удалось, и он так и уехал с отобранными патронами...

Наступившую ночь я уже ночевал в доме П., причем мы с ним сделали лазейку в подполье, через которую, в случае надобности, я мог уходить далеко под дом, закрывая ее за собой досками...

На другой день утром были пышные похороны убитых партизанами при отступлении горожан. Хоронили

троих. Как это ни странно, все они были зажиточными людьми: двое — торговцы хлебом, а один мясник. Желая, вероятно, выслужиться у большевиков, они при бегстве партизан, с целью задержать, хватали за поводья лошадей, и пали под ударами шашек. Наблюдая сквозь занавес окна проходившую процессию, я заметил некоторых, тоже из этого разряда людей, гарцовавших на лошадях, с винтовками за плечами. Некоторые из них принимали Дутова у себя в гостях.

— Смотри, смотри, — говорил я П., указывая на них и удивляясь: — вот разряд людей, смотрящих в глаза сильному!..

— Чему удивляешься, — отвечал мне П., — та же сволочь, что и покойнички...

Часа через три после похорон, вдруг раздался продолжительный гудок на электрической станции, к которому скоро присоединился набат на всех церквях. Мимо окон металась люди, что-то крича... Вышедший на улицу П. чтобы узнать в чем дело, вернувшись, радостно закричал мне:

— Ну, Михаил, кончилось твое сидение, наступает Дутов! В городе среди большевиков паника!.. Вероятно, часа через два, партизаны возьмут город и всех освободят...

Сердце мое запрыгало от радости, причем я радовался не столько своему освобождению, сколько изменению в судьбе арестованных, сидящих в тюрьме.

Паника среди населения, видимо, разрослась: мимо окон то и дело проезжали розвальни, в которых, среди подушек, сваленных наскоро перин, сундуков и другого скарба, сидели мужчины, женщины и дети. Все это гнало, как сумасшедшие, лошадей в сторону Белорецка, дорога куда была свободна от наступающих с трех других сторон партизан.

П. видел у помещения совета несколько приготовленных троек лошадей для комиссаров, которые там «заседают»... Среди удиравших я видел двух-трех из гарцовавших утром на похоронах зажиточных мещан...

Уходивший и приходивший опять с улицы, П. приносит различные новости. Белорецкий отряд большевиков сидит в санях, чтобы ехать во свояси, и отказывается идти против наступающих. Однако, местный народ охотно разбирает винтовки и бежит на встречу наступающим... Партизаны в трех верстах и все время подвигаются вперед. У большевиков нет пулеметов... Из окна я вижу на крышах людей, следящих за боем... Вот, с постоянного двора выехало человек 10 заводских мужиков, в лаптях, верхом на лошадях в хомутах, в руках у мужиков веревки, и поскакали в сторону Белорецка. По словам П., идущие из Белорецка орудия застряли в снегу верстах в шести от города и мужики поехали их выручать, причем он не знает — ложь это большевиков для поднятия духа сопротивляющихся, или правда.

Перестрелка за городом близится и разгорается; выходя в холодный коридор парадного крыльца, я ее отчетливо слышу. Со стула, в верхнюю часть окна мне видно наступающих по степи партизан и линию сопротивляющихся. Мимо окна начинают проезжать подводы с ранеными и убитыми. Я их знаю. Хорошие люди — солдаты с фронта, пришедшие после ранения в отпуски. Не большевики. «И зачем они?» — думается мне, и в сердце закрадывается жалость к ним...

Против окна стоят человек десять мужиков. П. стоит с ними... О чем-то степенно рассуждают... Некоторые из них мне знакомы... Вернувшийся в комнату, П. сообщает, что партизаны, ввиду сопротивления, наступают медленнее, залегли, и идет перестрелка.

— Что народ говорит? — спрашиваю я у П.

— Интересно, братец, — отвечает П., — знаешь, что сказал мне старик Нефедов? (общий наш знакомый, толковый старик, хлебороб).

— Ну?

— Говорит: при царе плохо было — убрали, стали управлять нами образованные — опять толков было мало. Не будет толков, по видам, и от товарищей. А вот, ото-

бьем Дутова, да сами, народом, значит, по правде управляться будем...

— Да, интересно!.. А жаль народ, — вот видел знакомых раненых и убитых везли мимо окна!..

— Конечно, жаль!.. Что же делать — всех не пережалеешь, а ты о тех, что в тюрьме сидят, тоже думай!..

— И о тех думаю... Ужасно все это!..

— Ну, знаешь, если Дутова отобьют, то большевики в том меньше всех будут виноваты — отобьет народ, — говорит П.

— Да, — соглашаюсь я. — На чью только мельницу вода выльется?..

— Конечно, это вопрос, — задумывается П.

И нам обоим хочется, чтобы старик Нефедов оказался прав, хотя мы и не говорим о том друг другу.

— А в эти дни — вспоминаю я — тот же народ арестовывал, избивал, обыскивал... В сено штыками кололи....

П. пожимает плечами... И снова становится темно в душе перед «бессмысленностью и беспощадностью русского бунта» и теряется вера в лучшее будущее.

Смеркается. Перестрелка за городом то разрастается, то утихает. Я уговариваю П., собирающегося идти в больницу, чтобы он, если там будет много раненых, сейчас же бы шел за мной. — Все равно, что со мной будет, я туда пойду и буду помогать раненым вместе с больничным врачом... — П. уходит...

Смеркается еще больше... Пошел снег... Из склада казачьего поставщика, портного Ж., начинают выносить и накладывать на возы казачьи шинели. Я не могу понять, куда их увозят. Оказалось, что их увозили на фронт и раздавали сопротивляющимся... Мимо окна проходят люди, возвращающиеся с фронта. Они не бегут, и по жестам их я догадываюсь, что у них нет патронов...

Спускается ночь... Снег валит хлопьями... Перестрелка за городом стихает... Партизаны в город не вошли...

С этого вечера, как бы кончилась моя жизнь и нача-

лось «житие» затравленного зверя, которое продолжалось семь недель, вплоть до моего бегства в Челябинск. Большую часть дня я проводил в подполе под домом, в полной темноте, лежа на голой земле... О чем я тогда думал?.. Кажется, ни о чем, — темнота не побуждает мозга к деятельности. Так я тупел все более и более, сам то сознавая. Всегда боявшийся крыс и мышей, я очень лениво стаскивал их у себя с груди, когда слышал, что они начинают грызть мой полушубок... Слабела воля, а с ней и сопротивляемость к внешним неприятным воздействиям. Мне трудно сейчас даже представить, что это был я. Аппетит у меня был прекрасный и, вылезая по вечерам из подпола, я прекрасно уничтожал все, чем кормили меня радушные хозяева... Вечером, как будто, оживал... Опасности, казалось, вечером было меньше и я слушал рассказы П. о событиях. Рассказы эти были ужасны, но душа притупилась к восприятию ужаса и они не производили должного впечатления. П. рассказывал, что большевики получили какие-то смутные сведения о том, что я не успел убежать и нахожусь в городе. Дня через два после отступления Дутова, они нагрянули с обыском на квартиру Ш. Хозяин уже сидел в тюрьме. Перерыли весь дом. Во время обыска на кухне, что-то зашевелилось на полатах. Большевики дали залп снизу в полати, но оттуда выскочила испуганная кошка... Потом они искали меня у военнообязанных немцев, живших в ссылке в нашем городе.

Эти рассказы волновали меня не столько за себя, сколько за судьбу П., если меня найдут у него. На что он всегда отвечал мне с своей неизменной улыбкой:

— Вот, веселенькая история, чудак человек!.. Ну, какая-же в том важность: поставят нас обоих к стенке и убьют. Только и всего!.. Или ты думаешь, что жизнь теперешняя так интересна, чтобы за нее стоило держаться?!

Милый человек, приятно о нем вспомнить не потому, только, что я обязан ему своею жизнью, но и потому, что он один из немногих не изменял себе и, несмотря на запугивание страшным террором, не признавал демагоги-

ческой политики большевиков правильной, и презирал их. Многие из моих знакомых и друзей вели себя недостойно. Не хочется вспоминать, как они обливали меня грязью перед большевиками за связь с Дутовым, рассказывая обо мне небывлицы, в которых я вовсе не был повинен. И это в то время, когда семья моя оставалась в городе почти-что в качестве заложников. А иные падали морально еще ниже, выслуживаясь перед новой властью. Так, например, припоминается г. О-кий, бывший председатель съезда мировых судей и председатель воинского присутствия, монархист по убеждению. Этот был откровеннее других и поступил к большевикам на почетную должность заведывания... трупами казненных. И не потому, вероятно, что для него не нашлось бы у них другого дела...

Были и такие, которые не пошли ни на какие компромиссы с большевиками. Они обрызгали своей кровью, ставшую теперь исторической, «стенку» большевицкого правосудия.

Весенний разлив реки Урала не позволил когда-то Пугачеву взять наш город, называвшийся тогда Верх-Яицкой крепостью. А при большевиках, начавших гражданскую войну в России, этот уездный город, насчитывающий до революции до 20 тысяч жителей, превратился в заштатный городок с семью тысячами обывателей. Зато оказалась набитой до отказа социалистами, присланными со всех концов России, и тем ставшая теперь знаменитой Верхне-Уральская тюрьма.

Итак, отбив Дутова, большевики лихорадочно готовились к новому его наступлению. Арестованные ими «буржуазные элементы» были выгнаны из тюрьмы за город на «трудовую повинность» — копать окопы. По целым дням они рыли там мерзлую землю, понукаемые прикладами наблюдавших за работами красноармейцев.

В это время случился маленький эпизод: приехавший прапорщик, выбранный в председатели совета и командующий фронтом, бежал, захватив с собой кассу и дутов-

скую даму, охотно или не охотно последовавшую за этим новым героем.

Но, поприжав еще раз буржуазию, большевики денег нашли, и к этому времени из Уфы приехал с новым отрядом партийный большевик Кадомцев. По приезде он выпустил широковещательную прокламацию о том, что он прямо прибыл с корниловского фронта, где он на голову разбил Корнилова (врал, — в то время Корнилов был еще жив, это было в марте 1918-го года) и приказывал казакам доставить Дутова живым или мертвым, обещая амнистию, в противном случае предупреждал, что пощады от него не будет. Однако, Дутова к нему не привозили, ни живого, ни мертвого. Устав ждать, Кадомцев повел свой отряд, пополненный мобилизованными в нашем городе людьми, при двух орудиях, против Дутова. Дутов занимал в то время поселок Кассельский, в 20-ти верстах от города. Подъехав на рассвете к поселку, Кадомцев обстрелял его из орудий, рассыпал отряд цепью и повел наступление. . .

Уже артиллерийский обстрел показал Дутову, с каким противником он имеет дело: ни один снаряд не попал в поселок, и часто шрапнель рвалась у дула орудия.

Подпустив их на близкое расстояние, партизаны и казаки открыли огонь. . . Услышав перестрелку, окрестные хуторяне выехали верхами на горы, посмотреть, что делается. Наступающие приняли этих зрителей за обошедших их партизан. Кто-то крикнул: «Обошли!» — и все побежали назад. Сколько Кадомцев на них ни кричал, остановить их не мог, и сам, на раненой лошади, с простреленной в двух местах шинелью, должен был удирать вслед за своими неопытными в правильных сражениях «боевиками». Партизаны преследовали их до города, отбили и орудия, но увезти к себе не смогли, не имея упряжек. Отряд Кадомцева, потеряв много убитых и раненых, вернулся в панике в город. Партизаны в город не вошли. Через несколько дней стало известно, что отряд Дутова ушел в степь в сторону Тургая. . .

Потом прибыл большевик Блюхер со своим отрядом

и отправился догонять Дутова. Догнав его, он так же потерпел поражение, повернул обратно и, сжигая попутно станицы помогавших Дутову казаков, прошел к железной дороге. Отряд Дутова ушел благополучно в тургайские степи, где и оставался, живя в киргизских кошах, вплоть до чешского выступления. После Дутов вернулся и занял г. Оренбург. Брат мой погиб во время этого похода.

Возвратившись из неудачного похода на Дутова, Кадомцев еще оставался некоторое время в городе, вымещая свою злобу за неудачу на ни в чем неповинных горожанах. За это время было много расстреляно бывших казачьих офицеров из тех, что не пошли за Дутовым, и за то только, что они бывшие офицеры. Был расстрелян начальник тюрьмы Цурюпа. Ему Кадомцев поставил в вину, что в его присутствии Гончаренко выпорол приставника тюрьмы. Между тем Цурюпа уже имел «заслуги» перед новой властью — он первый предупредил большевиков, увидав из верхнего этажа высокой тюрьмы за городом наступающих на город партизан Дутова. Расстреливались пачками казаки и другие мало известные горожане, вроде упомянутого пимократа Чепелева, по доносам и незначительным поводам. У Кадомцева был даже свой палач — здоровенный молодой татарин, мастерски отрубавший головы шашкой... Казнено было человек сто. Казалось, что конца не будет этой вакханалии смерти...

И вот, нужно сказать к чести народа, что он «не безмолствовал», а, собравшись на площади на митинг, в количестве до четырех тысяч человек, под председательством солдата фронтовика Сивкова, вынес единогласно постановление о прекращении террора. Это постановление на другой день, отпечатанное, появилось расклеенным по всему городу. Правда, по приказу совета, оно срывалось в тот же день и заменялось новым, начинавшимся словами: «Гидра контр-революции поднимает голову... и т. д.,... а потому совет, броневая и пулеметная команда и боевики, стоя на защите советской власти, постановили

террор продолжать, как единственное радикальное средство борьбы с контр-революционными элементами»...

Но все же Кадомцев с своими «боевиками» ушел в Уфу. (Там он погиб впоследствии, брошенный своими, обозленными на него, «боевиками» в реку Белую. Мне рассказывал потом очевидец этого события, как тонущий Кадомцев кричал «боевикам»: «Товарищи, спасите, со мной полмиллиона денег... Все вам отдам»... — «Тони, собака, и с деньгами», кричали ему в ответ его «боевики», и ни один из них не бросился в воду, чтобы помочь ему). После ухода Кадомцева террор не прекратился, однако потерял характер массового и снова вспыхнул только после чешского выступления.

Незадолго до прихода в наш город Кадомцева, была объявлена мобилизация лошадей. П., поведший свою лошадь на сборный пункт, долго, до позднего вечера, не приходил домой, вызвав у нас с его женой даже подозрение об его аресте. Мы сильно расстроили себе нервы, строя различные предположения о том, что нам теперь без него делать. И, когда он, наконец, пришел часу в 12-м ночи, приведя с собой лошадь, то жена бросилась с плачем к нему на шею, а я, расстроенный не меньше ее, выразил свою радость тем, что закатил ему такую оплеуху, что он едва устоял на ногах. Изумленный П. схватился за щеку и смотрел на меня, как на сумасшедшего... Наконец, он понял, в чем дело, и наше состояние... Оказывается, он был у меня в доме и прекрасно поужинал. Случилось это обстоятельство следующим образом. Мобилизация происходила на площади, недалеко от нашего дома. Производивший мобилизацию, один из Кашириных, на клочке бумаги написал моей жене, чтобы к вечеру у нас был готов ужин на 20 персон. Шутки плохи... Бросились за провизией и аккуратно, к указанному Кашириным часу, живший у нас повар немец, приготовил прекрасный ужин... Пожаловали гости... Большая часть их, оробевшая от хорошей обстановки, извинялась за свои грязные ноги, в смущении вытирала их о ковры. Обрадованная гостям хозяйка приглашает их садиться в своей гостиной

подождать, пока начнут подавать. Гости рассаживаются, кто на кончик кресла, а кто и как следует — поглубже... Начинается салонный разговор. Сначала о погоде:

— Язвило бы ее, и холодно же сегодня, — говорит один, и замирает под взглядом Каширина...

Хозяйка в смущении бежит на кухню... Гости мнутся, некоторые начинают качаться на пружинах мягкой мебели, наивно оглядываясь и испытывая удовольствие.

Наконец, подали ужин и разговор за ним перешел на тему о последних событиях. Один из Кашириных доказывает, что народ опередил революцию и ее вождей, и что вчера было теорией кабинетных умов—сегодня уже претворено народом в старую действительность... Один из товарищей рассказывает моей жене, как он вчера убил родного дядю за то, что тот с ним не был согласен во взглядах на вещи, и убьет, де, каждого буржуя, потому они тоже не соглашаются...

Веселый ужин прервался неожиданным приходом «коменданта» города, Константинова, с вооруженными красноармейцами.

— Это что за безобразие? — закричал «комендант». — На каком основании вы здесь бражничаете?.. Что же это такое?.. Все, значит, по старому — одни службу на морозе несут, а другие бражничают!.. Разойтись!!

Гости, не исключая и бр. Кашириных, быстро ретировались. Не унывал только наш П.:

— Да вы бы чайку с морозцу выпили, товарищ Константинов... Право... Налить вам стаканчик? — спрашивал он, стоя у самовара...

Но «комендант», покосившись на стоявших в столовой красноармейцев с винтовками, не удостоил П. ответом. Разогнавши всех, Константинов ушел и увел с собой красноармейцев.

Причина этого посещения такова. В другом нашем доме, стоявшем во дворе, выселив из него квартирантов в нашу квартиру, стояли красноармейцы. Когда они увидели приготовление к ужину через окно кухни, то стали приходить на кухню и просить у повара то того, то дру-

гого. Но немец закричал: «Пошел, грязный мужик, эта будут кушать ваш новый гаспада». — Красноармейцы пожаловались Константинову и он принял свои меры. Кстати будет дать характеристику этого Константинова, как типичного персонажа большевицкой революции, этого новоиспеченного большевика, и некоторых других «деятелей» того времени.

КОНСТАНТИНОВ

До революции скромный, недоучившийся в городском училище, юноша. Служит писарьком в Земской управе и играет на тромбоне в любительском оркестре. Мне случалось бывать в управе, где припоминаю его согнутым за столом в уголке канцелярии. Однажды, при моем посещении управы, я заметил, что он пристально смотрит на меня, и вдруг, доверительно так, поманил меня пальцем к себе. Я удивился, однако подошел к нему.

— Видали?

— Что?..

— А вот-с, это! — показывает он на пепельницу в виде чугунного лаптя, стоявшую у него на столе.

— Ну, что же здесь особенного?

— Тут-с... А вот!.. — Он опасливо оглянулся, взял пепельницу со стола, выбросил из нее окурки в корзину, перевернул ее и поднес мне. На задней ее стороне было изображено лицо царя Николая, с лаптем вместо бороды.

— Что же это изображает? — усмехнулся я, — Единение царя с народом, что-ли?..

— Нет-с... Совсем даже наоборот это понимать надо...

После революции я потерял его из виду.

Прошло несколько месяцев. Временное Правительство пало. Почти во всей России был уже большевицкий переворот, который до нашего захоластья еще не докапился. Однако, отсутствие твердой власти чувствовалось, и в начале декабря 1917-го года толпа разгромила казенный винный склад. Народ перепился и в городе была

большая паника. Вооружив винтовками реалистов, удалось спирт из огромных цистерн выпустить в реку. Но водка в посуде была расхищена вся. На этой платформе объединились все — и пролетарии, и буржуи...

Вечером — звонок ко мне с улицы. Прислуга боится идти отворять. Иду сам:

— Кто?..

— Не бойтесь, М. П., это я, Константинов...

Отворяю.

— А мы к вам, вот с товарищем больным...

Провел их в свой приемный кабинет, — оба они навеселе, наперебой рассказывают мне события дня...

— Я кран-то у цистерны открыл, а то бы беда: перепились бы и весь город сожгли, — говорит Константинов.

— Послушайте, Константинов, а ведь, я вас давно не видел, где вы были?..

— А я, М. П., на агитационных курсах был в Оренбурге, с месяц, как приехал оттуда...

На мой вопрос, о чем он теперь агитировать будет, начал очень сумбурно излагать программу большевиков, причем все время упоминал слово «народ». «Народ хочет». «Народом управляться будем» и т. д., и перешел прямо к доказательствам, желая, вероятно, сразу и меня съагитировать:

— Вот, вы — доктор, а чего вы боитесь, запираетесь? Насилу к вам мы дозвонились. У доктора квартира должна быть, как фонарь... открыта... Да!.. Вы думаете, что народ вам не заплатит за вашу работу? Отлично заплатит и даже очень народ понимает, не хуже буржуазии...

— Постойте, да я... — пробую его остановить.

— Нет, боитесь вы, доктор, народа, вот что!..

— Да постойте вы!.. Что вы все заладили, народ, да народ... Если народ, так и спорить нам не о чем... Принимаю — народ...

— То-есть, как это принимаете?

— Да так вот! Но ведь, насколько я вас понял, вас

учили-то чему?.. Про народ вам толковали в Оренбурге, или про класс, про пролетариат?

— Ну, там разное говорилось, а только большевики правильная партия и идет за весь народ против буржуазии. Только и она ни к чему, потому что народ теперь сам все понял и сам управиться может... К примеру, там, социализация или национализация... Все это ерунда, я вам скажу, потому, как теперь все наше, все, все... так к чему тут разговоры да слова разные... Уж мы сами знаем, как управиться со всем этим...

— Сорветесь, батенька, — возражаю ему: — как управиться, вы не знаете и без руководителей обойтись не можете. Разрушать что угодно легко и просто, вот, как винный склад, например, сегодня. А попробуйте, пустите его в ход теперь...

— Эх, М. П., если так рассуждать, так и революция ни к чему...

— Как, ни к чему?

— Да, так!.. Опять нас околпачат, как в 1905-м году.

— Причем тут 1905 год? Я вижу, что оренбургские учителя вас на собак брехать научили. Положим, большевики и могут рассчитывать только на помощь вот таких недоучек, как вы. Нас то им не провести и я думаю, что Учредительное Собрание укажет им скоро надлежащее место. Имейте в виду, что в России есть люди и партии с программами, более отвечающими народным надеждам и интересам. Вот, посмотрите, например, — показываю ему на подаренный мне Н. А. Морозовым в 1912-м году в Петербурге портрет, висящий на стене, — вот человек, 25 лет в Шлиссельбургской крепости за народ сидел, но он не согласен с большевиками...

— А это кто такой?

— Народоволц Морозов.

— Ну, и дурак, что 25 лет сидел!

— Позвольте, как вы можете так говорить?..

— Да, конечно, дурак. Что же, он теперь народ учить будет, што-ли, што этому народу делать надо? Да народ

сам знает, что, значит, ему нужно, а единственно нужно — разделаться с буржуазией, а потом управимся!..

— Ну, знаете, вы или пьяны, или... Давайте прекратим лучше этот разговор...

И я занялся больным его товарищем...

Припоминается еще одна встреча с Константиновым в совете солдатских и пр. депутатов.

По своей должности председателя городской думы, я кое-когда выступал в этом совете. Руководил собраниями совета, обыкновенно публичными, один из Кашириных. (Типичная казачья семья — подхалимов. До революции отчаянные монархисты... Отец, станичный атаман Верхне-Уральской станицы, до пупа увешанный большими серебряными и золотыми медалями, урядник, за выслугу лет и подхалимство перед начальством произведенный потом в хорунжие. Три сына, офицеры, с юнкерским образованием. Младший сходил с ума. Мать их — алкоголичка. После свержения большевиками Временного Правительства все они сделались большевизанами).

В этом совете, как полагалось в то время, только говорили, а потому выступал там, кто хотел, по большей части, разные большевицствующие «оратели». Помню, мне пришлось говорить после одного такого оратора — почтальона, довольно часто там выступавшего в защиту большевиков. Обыкновенно, он начинал свою речь следующим: «В Ермании наши товарищи, Розав, Луксембур и Липнех забастовали на счет промеждународной войны»...

Возражая, я посмеялся над ним, и кончил:

— Впрочем, как вам угодно, товарищи, можете мне не верить, ну, верьте тогда более осведомленному товарищу-почтальону!..

«Народ безмолствует». После меня берет слово какой-то матрос:

— Товарищи, — кричит он: — сейчас вы слышали, как образованный товарищ-доктор смеялся над товарищем почтальоном, можно сказать, дурака из товарища сделал. Канешна, нам не угнаться за товарищем доктором... А только я вот, недавна, из Петрограда, так там у нас по-

лучше доктора был один товарищ — Керенский называется, так тот и доктора в щель загонит, как говорить начнет! (Смех и рукоплескания). А толька, вот эти господа, Керенский с доктором та и погубляют всю Рассею со всею буржуазией! Довольно мы их наслушались!! Далой их!! Правильно ли я говорю, товарищи?».. — (Ревут: «правильно»)..

Константинов ко мне:

— Эх, бросьте выступать, М. П., рази их уговорите, видь ни черта не понимают!..

— Кто не понимает?

— Да народ то!

— Хм... А ведь, пожалуй, вы правы: не стоит!

— Фу, Боже мой, давно это вам понять надо!..

После разгона совета при Дутове, Константинов оставался в городе и исправно играл на тромбоне в оркестре, под который Дутов танцевал в клубе...

Наконец, восстание, и Константинов — «комендант» города.

Вот тут он развернулся во всю. Я видел его как-то из окна, когда он на вороной лошади верхом, с ноганом у пояса, уперев правую руку в бедро, нахмуря брови, проехал мимо дома П. Я, при виде его в новой роли, несмотря на трагическое положение, не мог не рассмеяться. Уж очень он потешно выглядел.

Рассказывали про него, как он издевался над арестованными в тюрьме, при допросах выбивая им зубы рукояткой револьвера. Допросы он чинил чуть не ежедневно и до позднего вечера. А по ночам он облюбовал для своих посещений почему-то наш дом.

Обыкновенно, в полночь, у нас слышали 6-7 выстрелов из револьвера на улице... Затем раздавался продолжительный звонок с парадного крыльца. Не отворить нельзя. Кучер немец идет, отворяет дверь. Вваливается товарищ Константинов, навеселе...

— Что угодно? — спрашивает его кучер.

— А тебе что за дело, немецкая рожа, м... м... м... — следует брань.

Ввалившись в квартиру, проходит прямо в спальню, где спят моя жена с дочерью и еще одна, выселенная из своей квартиры, наша знакомая дама, тоже с дочерью.

— Здравствуйте... А я с обыском — доктора ищу, расстрелять его, мерзавца, нужно за то, что к Дутову уехал...

Дамы лежат в кроватях:

— Послушайте, товарищ комендант, сами говорите, что доктор у Дутова, а ищите его здесь?!

— Не разговаривать... Где хочу, там и ищу... А может, он вот под кровать залез?..

Смягчает, наконец, гнев на милость, садится к кровати, покручивая ногом на шнуре и похлестывая нагайкой по одеялу, начинает разговор. Дамы, хотя в ужасе, что будет дальше, но стараются разговаривать и отвечать на все его куражливые вопросы. Кучер и сын реалист тоже слушают его разговоры и не уходят из спальни. Это его сердит. Покуражившись часа два, уезжает с тем, чтобы приехать в следующую ночь...

Ночные визиты прекратились после того, как мои приемные комнаты были реквизированы другим «деятелем», комиссаром Горабурдой, тоже очень своеобразным персонажем большевизма.

Когда «война» с Дутовым кончилась, Константинов был назначен комиссаром по культурно-просветительным делам, по «увеселительному» отделению. В его ведение поступили кинематографы, общественный сад, клуб и театр. В общественном саду он пересаживал какие-то деревья, и повесил объявление:

«За поломку деревьев в народном саду виновные предаются военно-полевому суду и расстрелу. Увком Константинов».

Словом, любил человек порядок...

На каком-то культурно-просветительном вечере, во время танцев, вдруг раздается крик комиссара:

— Эй, стойте, вы там, в... м... (непечатная брань). Кто из вас, сволочи, сломал акацию?! Сейчас застрелю!
— размахивает он ногом.

Все бросаются в панике из зала, где оставшиеся товарищи уговаривают пьяного комиссара. . .

ГОРАБУРДА

Другой «деятель» того времени, по фамилии Горабурда, реквизировавший мои приемные комнаты, рабочий из казенного винного склада, полуграмотный, едва умеющий писать человек. Небольшого роста, с кривыми ногами, с большим мясистым носом и узко поставленными глазами под маленьким лбом.

Этот был комиссаром «по конфискации имущества», или, как остроумно его называли товарищи: комиссаром «чужой собственности». Кое чего из чужой собственности он притащил и в свою новую квартиру. Серебряный самовар, пуховое одеяло, граммофон, ассортимент ночных горшков, альбом с фотографиями. Последний принадлежал нашим хорошим знакомым, а он с серьезным видом перелистывал его и, показывая моей жене и ее сестре фотографии, уверял, что все это его родственники. «Вот, этот молодой человек с супругой — его брат, большой музыкант, — он «обсерваторию» кончил в Варшаве» и т. д. Другим его любимым занятием было — заводить граммофон, причем на вопрос сестры моей жены, большой шутницы, кто это и что поет, сейчас же отвечал любезно: «Право, я не посмотрел, а, кажется, это Пушкин или Жуковский, а поет он, кажется, из книжки «Пчелка»! Из этого уже видно, что человек он был с запросами и широким горизонтом. Кроме того, он отличался аккуратностью и склонностью к семейственной жизни.

Скоро он попросил о позволении ему у нас столоваться. Пришлось просить его, чтобы он сделал такую честь. Начал столоваться. . . Как полагается, за столом он занимал дам разговорами, которые вертелись, по большей части, вокруг его персоны. Отец, видите ли, у него, был управляющим имения графа Потоцкого в Польше. Он рано начал садить его, маленького, на лошадь, а пото-

му у него теперь кривые ноги. За уши таскала его мачеха, оттого уши и вышли оттопыренные.

— А нос у вас, вероятно, оттого большой, что вы его всюду совали. . .

— Ах, шутница вы, Варвара Семеновна, — благодушно парирует комиссар замечание жениной сестры.

Как то после обеда он кончил свои рассказы тем, что всунул, уходя, записочку в руку моей жены. В записочке было объяснение в любви и формальное предложение обвенчаться с ним законным браком; записочка кончалась словами:

«Прости, небесное создание, меня такого гада» . .

После дипломатично мотивированного отказа, он особенно, пока, не настаивал, проронил только:

— Как знаете, а только будущее то нам принадлежит! . .

Приехав с расстрела моего отца, где он так же активно участвовал, был особенно любезен за столом и шутил. Видя мою жену заплаканной, опечалился и сказал:

— Что поделаешь, «классная» борьба! Вот, и вас всех в одну «вахромеевскую» ночь придется расстрелять!..

Не дожидаясь его новых предложений и «вахромеевской» ночи, жена моя с детьми бежала из города, переодетая простой бабой. А сестра ее оставалась в нашей квартире вплоть до занятия города казаками. Горабурда, утомленный предыдущими днями, в это время спал. Она его пожалела и разбудила. Он вскочил на велосипед и уехал, не успев захватить ничего из той «чужой собственности», к которой он так привык за те несколько недель житья в новом положении.

ИВАНОВ

Припоминается еще один типичный представитель пережитого десять лет тому назад момента — военный комиссар Иванов. Солдат с фронта, каменщик по профессии. Молодой, высокий, худой, туберкулезный человек. Образование — приходское училище. Вернувшись в го-

род после восстания против Дутова, он был назначен советом на пост военного комиссара. Одедся во френч, галифэ, высокие сапоги и в офицерское пальто с мерлушковым воротником. Ходил всегда с портфелем под мышкой. Один из самых авторитетных представителей в совете, он был сторонником беспощадного террора. Озверевший человек, но не без своеобразного благодушия. Как то совет вызвал, в числе прочих, мою жену для взноса контрибуции. Увидя ее там, Иванов обрушился с сетованиями на меня:

— А ваш то, мерзавец, ушел с Дутовым? А мы на него надеялись, что он с нами будет работать! Нет, теперь уж, если попадетя, ему не будет от нас пощады, как народному изменнику: собственными руками задушу, подлеца!

И сейчас же иронически благодушно, увидя вдову полковника, Петрову:

— А, Петриха пришла, денежки-то принесла?.. А, помнишь, как я у тебя фундамент клал? А вот, видишь, теперь новую Россию строим..

— Помню, батюшка, помню!..

— Я тебе не батюшка, а товарищ! — обрывает он Петрову.

— Ну, какой же вы мне, старухе, товарищ, — не сдастся та... — А что касается фундамента, действительно, вы сложили его на славу: ни один кирпич до сих пор не выпал... Ну, уж о России то я не знаю, не моего бабьего ума это дело!..

— То-то, не твоего!.. Давай, давай денежки то сюда!

— Берите, берите, ваша теперь воля, на постройку своих то ведь не припасли!

— Ну, знаешь, много то не разговаривай!..

— Молчу, молчу, батюшка!..

По приказу Иванова, арестованных «буржуев» пригоняли из тюрьмы в город, очищать улицы от снега и навоза. Он всегда сам наблюдал за этими работами и, повидимому, в его представлении, они имели, или должны были иметь, воспитательное значение. Однажды, шедшие мимо простые женщины начали смеяться и кричать работавшим:

— Что, толстопузые, и вас запрягли в работу? .. Мети чище, купец! — и пр.

Иванов, с закушенной от бешенства губой, бросился на баб с нагайкой и закричал:

— Марш отсюда к чертовой матери, шлюхи! Эти люди, может, в первый раз в жизни делают честную работу, нашу работу, которую мы всю свою жизнь делаем, а теперь смеяться, значит, над собой будем? !.

Одно упустил Иванов из виду, во-первых, то, что люди, которых он поставил на черную работу, в большинстве сами вышли из простого народа и, следовательно, та метла, или та лопата, какие он совал им в руки, не была для них ни новинкой, ни оскорблением, а, во-вторых, не знаю, насколько был прав известный психиатр Чиж, но он часто говаривал на своих лекциях: «В наш век, если человек к своим 50-ти годам не богат — это значит, что он не умен»...

Если согласиться с проф. Чижом, тогда только в его сентенции и будет заключаться вся вина подобной «буржуазии» перед «пролетариатом» типа Иванова.

После ухода в тургайские степи Дутова, Иванов был во главе карательного отряда, который расправлялся с беззащитными казачьими станицами, помогавшими Дутову. Приехав оттуда со славой лихого командира, он поселился на главной улице, реквизировав себе комнату, которую обставил по спартански.

Зайдя как-то к нам и увидя комнаты, занимаемые Горабурдой, сказал:

— Что же это за безобразие? Значит, один буржуй убежал, а вместо него другой поселился? ..

Его побаивались и сами его товарищи.

Когда ему хотелось повеселиться, он шел в клуб. Если там мало было народу, он писал и рассылал такие, например, записки:

«Товарищам барышням Ш. приказываю явиться в клуб для танцевальной повинности. Военком Иванов».

Отец «товарищей» барышень Ш. сидел в тюрьме, и

барышни ш. шли и должны были танцевать с восником, у которого в руках была жизнь их отца.

Сделавшись противником «опиума для народа» — религии, Иванов на Пасху отправился в тюрьму, где разогнал родственников арестованных, принесших с собой куличи и пасхи. Приношения отобрал и разбросал собакам. Велел вывести во двор одного из арестованных, владельца небольшого кожевенного завода, Зиновьева, воспитавшего двух сестер его, Иванова, и собственноручно убил того из револьвера. — «А я «похристосовался» сегодня с Зиновьевым», — говорил он, приехав из тюрьмы. Все это он проделал совершенно трезвый — он берег свое слабое здоровье и ничего не пил спиртного.

Празднование 1-го мая 1918-го года наши комиссары обставили особенно помпезно. За красными флагами ехала кавалерия, шли броневые автомобили. Громыхали орудия, двигалась пехота. За ними шли дети из гимназий и других школ, в сопровождении бледных учителей. Дальше шел народ. Играла музыка. Иванов верхом гарцевал во главе процессии. За городом митинг... Речи... И, наконец, салют из всех родов огнестрельного оружия. Несколько горожан, стоявших поодаль, упали убитыми и ранеными, так как красноармейцы, стрелявшие вверх, забыли, вероятно, что пули падают обратно. Но это не испортило праздника. Сам Иванов ложится за пулемет и выпускает ленту, целясь куда то в степь...

— А вы бы, товарищ Иванов, по голубям, вон, пустили, — показывает на сидящих голубей, случившийся около него наш вездесущий П., — интересно, попадете, или нет?..

— Что вы, обалдели, что ли? — отвечал ему Иванов. — Стану я стрелять по невинной птице?!. Становитесь вот вы на их место — по вас с удовольствием...

— Нет, веселенькая история, эти большевики, Михаил, а? — рассказывал мне, пришедший с этого торжества, П.

Однако, туберкулез делал свое дело, и однажды у Иванова открылось горловое кровотечение. После оста-

в реквизированное советом имение богатого купца Г., где был прекрасный дом с огромным садом. Как-то Иванов спросил, обязанного ежедневно ездить к нему, врача, — как, де, его, больного, положение, и просил того не стесняться, так как смерти, де, он не боится и привык ей смотреть в глаза. Доктор ответил, что положение серьезно, но, во всяком случае, принимая во внимание и т. д., можно надеяться...

— Так вот, старайтесь, — заговорил больной, — какнибудь, уж помогайте, а то всякое лезет в голову... Я вот, вчера завещание даже написал...

— Ну, что вы?! Умирать вам еще рановато!

— Нет, да я так, на всякий случай!.. Вас, доктор, я там тоже не забыл...

— Меня?

— Да, и вас тоже! Пишу там, чтобы вас расстреляли за то, что вы меня не вылечили!.. Так вот, лечите, а то еще уморите меня нарочно!..

Однако, все кончилось благополучно, — он поправился.

После выступления чехов, Иванов повел свой отряд на них к железной дороге. Но далеко идти ему не пришлось, так как начали восставать казаки, и в одной из станиц был убит матрос Тяжельников, тоже комиссар и его близкий товарищ. Иванов повернул обратно, послав предварительно телеграмму в Верхне-Уральск следующего содержания:

«Погиб в борьбе с чешской контр-революцией товарищ Тяжельников. Везу его мертвое тело. Приказываю отправить на лоно Авраамово 20 арестованных при тюрьме буржуев, как панихиду по павшему бойцу. Военком Иванов».

В совете «слушали и постановили»...

Приказ был выполнен в точности: 20 человек, среди них и моего отца, посадили связанных в телеги, увезли за 17 верст от города в горы, и расстреляли. После тех невероятных по своей бессмысленности издевательств и фи-

звешских мученики, каким они подвергались в течение 3-месячного пребывания в тюрьме, думаю, что смерть им была желанной освободительницей...

Мертвых раздели, поделили между палачами их одежду и забросали кое-как трупы землей. Иванов привез «мертвое тело» Тяжельникова, которое торжественно похоронили в... церковной ограде собора в городе.

При занятии нашего города казаками атамана Анненкова и восставшими местными казаками, Иванов, вместе с другими, отступил в Белорецк. Там у него снова пошла кровь горлом и его положили в заводскую больницу. Казаки, не встречая сопротивления, быстро двигались вперед. Одним ранним утром они показались у Белорецка. Во время тревоги, Иванов вскочил с кровати и, в смертельном страхе, заметался по больнице. Выбежав в больничный сад, он бросился прятаться в кустах... Но кровь хлынула у него горлом... он упал, хрипя, на садовую дорожку... И в этот момент промелькнула ли у него мысль о «лоне Авраамовом»?..



Другие «деятели» того времени так называемого военного коммунизма, лучше сказать, «пугачевщины», были подобны описанному, и не стоят отдельного упоминания. Каширины комиссарами в совете не состояли и вообще в нем не было ни одного интеллигента, или настоящего социалиста, и прибавлю для тех, кто полагает, что в России зверствуют только евреи, — ни одного еврея.

Пока происходили описанные события, в большей или меньшей мере зависящие от описанных лиц и обстоятельств, наступала седьмая неделя моего вынужденного пребывания у П. Вечно оно продолжаться не могло, и приходилось вплотную задумываться о дальнейшей моей судьбе. До сих пор мне везло, но было ясно, что испытывать судьбу дальше было бы неразумно. Оба мы с П. прекрасно это понимали и усиленно искали выхода.

Выход был единственный и давно, собственно, решенный, — нужно было уезжать из города и уезжать подалее. Но исполнение этого исчезновения не являлось

простым делом, и приходилось думать и думать, как привести его к благополучному концу. Нам приходилось надеяться только на себя и на помощь самых близких людей.

Я категорически отказался от предложения П., желавшего на своей лошади отвезти меня за 150 верст к железной дороге. Какое право имел я рисковать и его головой, если бы мы попались? Довериться другому лицу не было возможности, да это не меняло бы дела с ответственностью.

Но и тут судьба мне благоприятствовала. Мои лошади были реквизированы, и вот, одна из них, самая лучшая, захромала на службе у большевиков. Они поставили ее в лазарет, а потом разрешили даже взять ее домой к нам, как безнадежно больную. Однако, болезнь ее оказалась пустячной, она дома скоро поправилась, и теперь, по моим указаниям, ее усиленно кормили и наезжали. Наконец, она была доведена до такого состояния, что на нее было возможно вполне положиться.

Большевики, чувствуя себя в полной безопасности, уже не были так бдительны, как прежде. П. несколько ночей ходил по улицам и хорошо изучил время ночных объездов конной милиции.

Сын мой, 14-летний реалист, наезжая лошадь, говорил жившему у нас комиссару Горабурде, что ездит на хутор к товарищу, где они собираются сеять овес...

Тихим весенним вечером, 12-го мая, сын приехал за мной во двор П. Я ждал его, переодетый в мужицкий костюм. За семь недель я ни разу не брился, и теперь, покрасив отросшую бороду и волосы, превратился в брюнета... Стемнело... Я обнимаю в последний раз супругов П., сажусь на козлы и беру в руки возжи. Душа моя спокойна и мысли отчетливо ясны ..

— Взял ли ты револьвер? — спрашивает меня П.

— Нет, — говорю я, — если судьба решит отдать меня в их руки, я не хочу убивать...

П. пожимает мне руку. и отворяет ворота.

— Прощай, — шепчу я ему, выезжая на улицу, и слышу его ответное: «счастливо»!..

Я видел почти все большие города Европы и Северной Америки, но никогда улицы их не казались мне такими длинными и площади так бесконечно широкими, какими представились они, пустынные, мне в нашем городе в этот вечер...

Путь мой лежал через площадь, где стоял мой дом. Боясь, чтобы лошадь не потянула к дому, я нарочно сделал крюк, и выехал на площадь с другого угла. Здесь произошла встреча, которая могла стать роковой. Мне пересек путь верховой милиционер, который, увидев, что кто-то едет, остановился и стал смотреть в мою сторону. — «Что делать?» — мелькнуло в голове.

Я не спеша, повернул лошадь к больнице и остановился. Милиционер не двигался. — Если он поедет в нашу сторону, я уйду за угол, а ты ему что-нибудь выдумай, — говорю я поспешно, сидящему сзади, сыну. Но милиционер, повидимому, успокоенный моей неторопливостью, тронул лошадь и поехал своей дорогой. Дав ему уехать с площади, я завернул за угол и пустил лошадь во всю. Через несколько минут мы были уже за городом..

Я имел намерение выехать на одну из станций Самаро-Златоустовской железной дороги и решил ехать так называемым башкирским трактом, который шел в Уральских горах. По нему, с проведением шоссейной дороги, мало теперь ездили, а когда-то он был знаменитым на южном Урале и поэтическое описание его ни один раз встречается у Мамина-Сибиряка...

Дорога шла мимо тюрьмы; при виде ее сердце мое сжалось за участь сидевшего в ней отца и я почувствовал, что ему не выйти из нее живым.

Лошадь неслась, нетерпеливо подергивая головой, прося еще ходу. Свежий ветер дул мне в лицо. Звезды мерцали. В поле горели костры. Рассвет застал нас в горах, уже верстах в 30-ти от города. Мы ехали у подножия западного склона Уральского хребта. Вставало солнце и

от нас, блестела своей снеговой шапкой гора Ирмель. Перед ней толпились синие горы и убегали в бесконечную даль синими цепями... Какой простор после душного подполья!..

Дав вздохнуть лошади часа два, и напившись чаю у сторожа башкира, на забытом прииске, поехали дальше. После полудня, лошадь, отбив ноги на твердом, кремнистом тракте, начала хромать. Но мы были уже почти у цели и въехали в большое село...

Итак, выехав из города в 11 ч. вечера, в 2 часа дня я остановился у ворот знакомого дома в этом селе. Лошадь пробежала за это время сто с лишним верст, блестяще оправдав возлагавшиеся на нее надежды...

Сын с лошадыю здесь остался, чтобы ехать обратно, а я переночевав в этом селе и из мужика превратившись в полуинтеллигентного приказчика, на нанятых лошадях поехал на станцию железной дороги, находившуюся в 50-ти верстах.

Возница мой, оказавшийся очень разговорчивым человеком, сначала испытывал меня разными казуистическими вопросами. Наконец, решив, что я, повидимому, не большевик, разразился бранью на представителей новой власти. Я слушал его и жадно смотрел на широкий горизонт, на нежно зеленеющую травку, на распускающиеся почки берез, на жаворонков, поющих в голубом небе. У самой дороги, не обращая на нас никакого внимания, дрались два зайца. Они, тяжело дыша, на скакивали друг на друга и царапались передними лапками. Мордочки их, покрытые кровью, были очень комичны. Сколько мой возница ни кричал на них и ни ухал, они, покосившись на нас, продолжали драку и не убегали.

— От, большевики, ну, чистые большевики, — неодобрительно сплюнул возница и тронул лошадей.

Приехав в местечко у железнодорожной станции, я прожил в нем два дня и 17-го мая сел в поезд, шедший в Челябинск.

Ехал я в третьем классе, одетый под мастерового,

слушал, что говорят кругом и молчал. Некоторые пассажиры говорили, что едут из Нижегородской губернии искать работу, бранили большевиков, занявших фабрики, работа на которых остановилась. На станциях, смотря в открытое окно, я видел храбрых солдат, стоявших и ходивших на платформе. На фуражках у них, вместо кокарды, была красно-белая ленточка. Прислушиваясь к их языку и не понимая его, я решил, что они были латышами.

Только, приехав вечером в Челябинск, я узнал, что это чехи, которые в этот день выступили против Челябинского совета, арестовавшего нескольких чешских солдат по поводу так называемого «мадьярского» инцидента.

В этот вечер я много говорил с чешскими солдатами на вокзале. Узнал, что чехи едут во Владивосток, чтобы оттуда ехать на французский фронт и решил поступить добровольцем в чешскую армию.

Когда, через десять дней, было другое восстание чехов против большевиков, по всей железнодорожной линии, занимаемой их эшелонами, я был уже легионером.

Подробности, как я вступил в чехословацкие легионы и что я пережил с ними в Сибири, составляют отдельную главу моих воспоминаний.

Этот очерк я закончу описанием своей последней встречи с атаманом Дутовым.

В конце лета 1918-го года, Дутов, проезжая через Челябинск к Сибирскому Правительству в Омск и, узнав от представлявшихся ему чехов, что я служу у них в армии, вызвал меня по телефону к себе в поезд. Я пришел на вокзал с близкого к нему переселенческого пункта, где помещался чехословацкий госпиталь. Мне пришлось проталкиваться через массу народа, стоявшего на платформе и глазевшего на поезд Дутова...

Я вошел в вагон и увидел Дутова, диктовавшего что-то своему адъютанту, также мне знакомому. Гладко выбритый, Дутов был одет в синюю рубашку с полковничьиими погонами, подпоясанную ремнем. На груди у ворота

— петличка из синей и георгиевской ленточки, присвоенная, по его приказу, всем участникам похода.

Мы обнялись... После первых восклицаний, заговорили о прошлом. Он рассказал мне о своем походе и о том, как трудно им пришлось обходиться без врача, особенно с ранеными. Как он, за неимением перевязочного материала, рвал свои рубашки и сам перевязывал раненых, и обиженным тоном заметил, что нехорошо, де, я поступил, не приехав к нему тогда от старика Танаева. Я вкратце рассказал ему о том, как мне пришлось пожалеть, что я к нему не приехал, и тоже попенял ему на то, почему он не взял города хотя бы для того, чтобы спасти арестованных из тюрьмы: ведь, большинство из них заплатило своими головами за то только, что принимали его у себя. На это Дутов мне сказал какую-то резкость. Я удивленно поднял на него глаза и замолчал. Адъютант вышел. Дутов несколько раз прошелся по салону, и вдруг круто обернувшись, подошел ко мне с протянутой рукой:

— Извините меня за резкость!. Давайте мириться, и кто старое помянет, тому глаз вон! Не думайте про меня, что я неблагодарный человек!

И он сделал, очень польстившее мне, предложение занять высокий санитарный пост в его вновь формирующейся армии. Поблагодарив его, я отказался, однако, мотивируя тем, что, поступив добровольно к чехам, не считаю теперь для себя возможным уйти от них.

— Вольному воля, спасенному рай! Была бы честь предложена, — обиделся на меня Дутов.

Мы вышли с ним в корридор из салона. Там стояли офицеры, представлявшие Дутову, и лица, едущие с ним в Омск. Я подошел к последним. Отпустив офицеров, Дутов обернулся в нашу сторону:

— Ну, так как, изменник? — засмеялся он, подходя ко мне.

— Совсем не изменник, Александр Ильич, и обещаю вам, что весь буду в вашем распоряжении, если удастся то, о чем теперь все говорят, то-есть сделать новый фронт против немцев, хотя бы на Волге!

— И сделаем!

— А вот те недоразумения. какие происходят сейчас между Самарским и Сибирским правительствами, заставляют меня сомневаться в такой возможности!..

— Э, батенька, да вы предсказаниями занимаетесь? Ну, увидим, что будет, а я твердо верю в наш успех!..

— Всем сердцем желаю, А. И., чтобы вы оказались правы!

— Ну, прощайте, М. П., не поминайте лихом, пора ехать дальше, и так задержался здесь мой поезд! .

— Дядя! — закричал он в окно пробежавшему мимо уряднику из его охраны: — скажи, чтобы «крутил Гаври-ла»... Едем дальше!

Народ засмеялся...

Расстались мы холоднее, чем встретились. Я вышел из вагона на платформу. Поезд двинулся. Дутов козырнул мне, улыбнувшись, из окна вагона. Народъ закричал «ура» и замахал шапками...

В другом окне мелькнула женская головка гимназистки из нашего города...

В коридоре вагона, заметя мой удивленный взгляд на нее, адъютант Дутова, улучив минуту, шепнул мне в ухо:

— Походная краля-с!..

М. Полосин

LIBRARY
2006 Susan St.
Saginaw, Mich.
U.S.A.